

КОМБРЕ¹



I

Долгое время я ложился спать рано. Иной раз, стоило мне потушить свечу, глаза мои смыкались так быстро, что я не успевал подумать: «Засыпаю». А спустя полчаса меня будила мысль о том, что надо сделать над собой усилие и уснуть; я хотел отложить том, который, казалось, все еще у меня в руках, и задуть огонек; во сне я непрестанно размышлял над прочитанным, но размышления эти принимали несколько неожиданный оборот; мне чудилось, что я сам — то, о чем говорится в книге: церковь, квартет, соперничество Франциска I с Карлом V². Это ощущение удерживалось еще несколько секунд после пробуждения; оно не задевало сознания, но заволакивало глаза пеленой, мешая понять, что свеча уже погасла. Потом оно постепенно блекло — так после переселенья душ блекнет память о прошлых жизнях — сюжет книги отступал в сторону, от меня зависело, относить его к себе или нет; тут же я вновь обретал зрение и немало удивлялся, обнаружив вокруг темноту, сладостную и отдохновенную для глаз, но, быть может, еще больше для ума, которому она представлялась беспричинной, непостижимой, воистину темной. Я гадал, какой теперь может быть час; я слышал посвист поездов, он издалёка, словно птичье пенье в лесу, напоминал о расстоянии и рассказывал мне о протяженности пустынных полей, по которым путешественник спешит к ближайшей станции; и тропа под ногами навсегда запомнится ему возбуждением от новых мест, непривычных поступков, недавней беседы и прощания под чужой лампой, которые еще преследуют его в ночном безмолвии, и грядущей радостью возвращения.

Я нежно прижимался щеками к прекрасным щекам подушки, тугим и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, смотрел на часы. Скоро полночь. Время, когда разбужен-

ный приступом больной³, которому пришлось уехать и заночевать в незнакомой гостинице, радуется, заметив под дверью полоску света. Какое счастье, уже утро! С минуты на минуту встанут слуги, он позвонит, ему помогут. Надежда, что скоро станет легче, придает ему стойкости. Вот и шаги слышны, они приближаются, потом удаляются. И полоска света под дверью исчезла. Полночь; только что погасили газ; ушел последний слуга, и всю ночь придется терпеть, и нет спасения.

Я засыпал опять и подчас просыпался после этого уже только на миг, успевал услышать вечное потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и впитаться в калейдоскоп темноты, в мгновенном проблеске сознания порадоваться сну, в который были погружены мебель, спальня, все, чего я был лишь малой частицей и с чем скоро опять сроднюсь в общем бесчувствии. Или я во сне без усилий возвращался в навсегда ушедшие ранние годы, вновь обретал детские страхи, например что двоюродный дедушка будет меня дергать за кудряшки, — этот страх развеялся в тот ознаменовавший для меня новую эру день, когда их состригли. Во сне я забывал об этом событии; память о нем возвращалась сразу же, как только мне удавалось проснуться и ускользнуть от рук двоюродного дедушки, но на всякий случай, прежде чем вернуться в мир сновидений, я зарывался всей головой в подушку.

Иногда, подобно тому как из ребра Адама родилась Ева, из неловкого положения моего бедра, пока я спал, рождалась женщина. Она возникала из внезапного наслаждения, а я воображал, что это она мне его дарила. Я чувствовал ее тепло, на самом деле исходившее от моего собственного тела, хотел к ней прижаться и просыпался. Остальное человечество казалось мне страшно далеким по сравнению с этой женщиной, которую я покинул всего мгновенье назад; моя щека еще хранила тепло ее поцелуя, тело поламывало от тяжести ее стана. Подчас она напоминала чертами лица женщину, которую я знал в жизни, и тогда я душой и телом устремлялся к одной цели — увидеть ее снова; так люди пускаются в странствия, чтобы своими глазами увидеть желанный город, и воображают, будто можно в реальной жизни насладиться очарованием мечты. Постепенно память о ней рассеивалась, я забывал порождение моего сна.

Спящий человек окружает себя чередой часов, строем годов и миров. Просыпаясь, он инстинктивно сверяется с ними и вмиг просчитывает, какую точку земли он сейчас занимает, сколько времени протекло, пока он спал; но их ряды могут смешаться, прерваться. Пускай сон одолеет его под утро, после бессонницы, над книгой, совсем не в той позе, в какой он обычно засыпает, и вот уже ему довольно поднять руку, чтобы остановить или обратит вспять солнце, и в первую минуту после пробуждения он уже не будет знать, который час, и решит, что лег совсем недавно. А если его сморит в положении еще более неуместном и непривычном, например в кресле, после обеда, тогда сошедшие с орбит миры охватит полное смятение и волшебное кресло отправит его на всей скорости путешествовать по времени и пространству; и в тот миг, когда он откроет глаза, ему почудится, что он уснул несколько месяцев тому назад в другой стране. И даже если я засыпал в своей кровати, но достаточно крепко, так чтобы сознание до конца угомонилось, то из него ускользал план места, где я погрузился в сон; и, просыпаясь посреди ночи, я не знал, где я, и в первый момент даже не понимал, кто я такой; только чувство, что я существую, охватывало меня во всей изначальной простоте — такое чувство, быть может, трепещет в животном; я был оголен, как пещерный человек; и вот тогда воспоминание — еще не о месте, где я нахожусь, а лишь о каких-то местах, где когда-то жил или мог бывать, — приходило ко мне как спасение свыше и вытаскивало меня из небытия, из которого мне было не выбраться самому; я за мгновение перемахивал через века цивилизации, и мне представляли зыбкие образы керосиновых ламп, потом сорочек с отложными воротничками — эти видения понемногу восстанавливали исходные черты моего собственного «я».

Быть может, неподвижность вещей вокруг нас навязана им нашей уверенностью, что это они, и ничто другое, — навязана неподвижностью нашей мысли о них. В любом случае, когда я так просыпался и мой разум безуспешно бился, пытаюсь понять, где я, вокруг меня в темноте все кружилось: вещи, страны, годы. Тело мое, настолько оцепеневшее, что не в силах было шевельнуться, пыталось по форме своей усталости определить положение рук и ног и из него заключить, куда идет стена, как

расставлена мебель, воссоздать и назвать дом, где оно обретается. Память моего тела — память ребер, коленей, плеч — разворачивала перед ним вереницу комнат, в которых ему доводилось спать, а вокруг, в потемках, вихрем клубились невидимые стены, перемещаясь в согласии с формой воображаемой комнаты. И не успевала моя мысль, поколебавшись на пороге времен и форм, сопоставить все обстоятельства и опознать жилище, как тело уже припоминало особенности кровати в каждом доме, и где дверь, и на какую сторону выходят окна, и есть коридор или нет, и с какой мыслью я там засыпал, а потом просыпался. Мой занемевший бок, пытаюсь угадать, в каком направлении он развернут, воображал, например, что вытянулся вдоль стены в большой кровати под балдахин, и я себе тут же говорил: «Вот как, я все-таки заснул, хотя мама не пришла сказать мне спокойной ночи» — я был за городом у дедушки, умершего уже немало лет назад⁴, и мое тело, бок, на котором я лежал, верные стражи прошлого, которое на самом-то деле полагалось надежно хранить сознанию, напоминали мне о пламени ночника из богемского стекла в форме вазы, свисавшего с потолка на цепочках, о камине сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у бабушки с дедушкой, в то далекое время, которое секунду назад я принимал за настоящее, хотя точного понятия о нем у меня не было, но очень скоро, когда я совсем проснусь, оно представится мне ясней.

Потом оживала память о новом положении тела: стена тянулась в другую сторону; теперь я был у себя в спальне, в загородном доме г-жи де Сен-Лу; господи, уже часов десять, не меньше, и ужин, наверное, кончился! Прежде чем переодеться во фрак, я — по-видимому, после прогулки, которую совершал ежедневно вместе с г-жой де Сен-Лу, — прилег, как всегда, отдохнуть и заспался. Немало лет миновало со времен Комбре; а ведь это там, когда мы возвращались совсем поздно, я видел красные отблески заката на стеклах моего окна. В Тансонвиле у г-жи де Сен-Лу живут по-другому, и радости у меня другие: я выхожу из дому только ночью и блуждаю при лунном свете по тем дорогам, где когда-то играл на солнце; и комната, в которой я потом усну вместо того, чтобы одеваться к ужину, видна мне издали, пока мы идем к дому, пронизанная лучами лампы, единственный маяк в ночи.

Это вихреобразное и смутное узнавание длилось обычно какие-то секунды; мимолетное мое недоумение, где же я, терялось в догадках, часто отличая одну из них от другой не больше, чем мы, видя бегущую лошадь, осознаём каждое ее новое положение, которое показывает нам кинетоскоп⁵. Но передо мной успевали промелькнуть одна за другой комнаты, в которых я когда-нибудь ночевал, и в конце концов я, надолго уходя в мечту, сменявшую сон, вспоминал их все: зимние комнаты, где, пока спишь, прячешь голову в гнездо, свитое из самых разношерстных вещей: угла подушки, краешка одеяла, конца шали, ребра кровати и номера «Деба роз»⁶, которые в конце концов слепляешь вместе, приминая их до бесконечности, по примеру птиц; где в холодное время года наслаждаешься тем, что чувствуешь себя укрытым от внешнего мира (как морская ласточка-крачка, у которой гнездо глубоко в ямке, в теплой почве), и, если в камине на всю ночь разведен огонь, спишь в огромной шубе теплого дымного воздуха, пронизанного отблесками вспыхивающих головешек, словно в неосязаемом алькове, в теплой пещере, вырытой прямо в комнате, в жаркой зоне, колышущейся внутри границы тепла, овеваемой дуновениями, освежающими нам лицо, которые тянутся из углов, из областей, близких к окну или далеких от очага и успевших остыть; летние комнаты, где так наслаждаешься слиянием с теплой ночью, где лунный свет, накапывая на приоткрытые ставни, бросает свою колдовскую лестницу через всю комнату до самого изножья кровати, где спишь почти как под открытым небом, словно синица, покачивающаяся под ветерком на самом конце солнечного луча; иногда спальня в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер чувствуешь себя в ней не совсем уже несчастным, и колонки, легко держа балдахин, так грациозно расступились, являя и храня место, где прячется постель; то, наоборот, маленькая спальня с высочайшим потолком, вырытая в форме пирамиды в толще двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с первой секунды душу мою отравлял незнакомый запах лимонной травы, угнетали враждебность фиолетовых занавесок и дерзкое равнодушие стенных часов, что стрекотали так громко, словно меня здесь не было; где четырехугольное стоячее зеркало, странное и безжалостное, загораживая наискось угол ком-

наты, нагло врзалось в нежный простор моего обычного поля зрения, приучая к непредвиденному расположению вещей; где мысль моя, часами пытаясь раствориться, растянуться в вышину, принять в точности ту же форму, что и комната, и наполнить собой доверху ее гигантскую воронку, промаялась немало суровых ночей, когда я лежал вытянувшись в постели, и глаза мои устремлялись ввысь, слух тревожно напрягался, ноздри раздувались, сердце стучало, пока привычка не переменит цвет занавесок, не заставит часы смолкнуть, не призовет к жалости уклончивое жестокое зеркало, не заглушит или даже не изгонит совсем запах лимонной травы и, главное, не уменьшит очевидную высоту потолка. Привычка! Ловкая, но такая неторопливая распорядительница, поначалу она неделями обрекает наш разум на муки временного существования, но он и тому рад, потому что, не будь привычки и доведись ему обходиться собственными силами, он был бы бессилен предоставить нам квартиру, пригодную для жилья.

Разумеется, теперь я уже чувствовал себя совершенно проснувшимся, тело уже завершало последний оборот и добрый ангел уверенности успевал остановить вокруг меня движение, уложить меня под одеяло в моей спальне и приблизительно расположить по местам в темноте комод, письменный стол, камин, окно на улицу и две двери. Но пускай я знал, что я не в одном из тех домов, на которые мимолетно, но ясно указала или по крайней мере наметнула мне спросонок моя неосведомленность, памяти моей уже был дан толчок; обычно я не стремился тут же заснуть снова; большую часть ночи я проводил, припоминая, как мы жили когда-то в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции⁷ и мало ли где еще, восстанавливая в памяти места, людей, которых я там знал, и что я за ними замечал, и что мне о них рассказывали.

В Комбре каждый день, под вечер, задолго до часа, когда надо было идти в постель и лежать без сна вдали от мамы и бабушки, спальня превращалась в предмет моих неотступных и горестных забот. Чтобы развлечь меня в те вечера, когда видно было, что я совсем приуныл, придумали подарить мне волшебный фонарь, который еще до ужина нахлобучивали на мою лампу; и по примеру первых архитекторов и витражистов готиче-

ской эпохи он подменял непрозрачность стен неуловимой радужной игрой, сверхъестественными разноцветными видениями, в которых, словно на мимолетных дрожащих витражах, запечатлевались легенды. Но мне только становилось еще печальнее, потому что при новом освещении спальня делалась непривычной, а ведь привычка почти примиряла меня с ней (если не считать пытки укладыванием в постель). Теперь я уже не узнавал комнаты, и мне было в ней тревожно, как в гостиничном номере или в комнате какого-нибудь шале⁸, если попал туда впервые прямо с поезда.

Подпрыгивая на спине своего скакуна, полный ужасных замыслов, Голо выезжал из треугольного леска, темневшего бархатистой зеленью на склоне холма, и вскачь несся к замку бедной Женевьевы Брабантской⁹. Замок был срезан кривой линией, которая была просто краем одного из овальных стеклышек, — их вставляли в рамку, которая скользила в пазах фонаря. От замка остался только кусок, а перед замком — песчаная равнина, где грезила Женевьева, подпоясанная голубым кушачком. Замок и равнина были желтые, и мне не надо было глядеть на них, чтобы узнать, какого они цвета, потому что раньше стеклышек в рамке мне уже сказал об этом со всей непреложностью золотисто-багряный звон имени Брабант. Голо на миг останавливался и печально слушал небылицы, которые читала вслух моя двоюродная бабушка; судя по всему, он их прекрасно понимал, потому что с покорностью, не исключавшей некоторого величия, принимал позы согласно указаниям текста; затем он удалялся, все так же подпрыгивая на спине своего скакуна. И ничто не могло остановить этой медленной скачки. Если фонарь переставляли, мне видно было, как конь Голо продолжает скачку по занавескам на окне, то раздуваясь вместе с тканью, то проваливаясь в ее складки. Тело самого Голо, той же сверхъестественной природы, что и тело его коня, одолевало любую вещественную преграду, любую вещь, возникавшую у него на пути, превращая ее в часть собственного скелета и вбирая в себя, например, ручку двери; к ней сразу же приспособлялись и непобедимо воспаряли над ней его алый плащ или бледное лицо, всегда такое благородное и печальное, на котором, однако, не отражалось ни следа метаморфоз, происходивших с его костяком.

Конечно, я находил очарование в этих блистательных изображениях, которые словно пришли прямо из меровингских времен¹⁰ и рассеивали вокруг меня такие древние отблески истории. И все-таки не передать, как худо мне было от этого вторжения тайны и красоты в комнату, которую мне насилу удалось наполнить своим «я» настолько, чтобы обращать на нее не больше внимания, чем на это самое «я». Как только проходил наркотизм привычки, я начинал думать, чувствовать, а это так печально. Та самая ручка на двери моей комнаты, для меня отличавшаяся от всех остальных дверных ручек в мире тем, что, казалось, поворачивалась сама собой, не нуждаясь в моем вмешательстве, настолько машинально я привык с нею обращаться, теперь служила астральным телом¹¹ для Голо. И как только звонили к обеду, я поспешно несся в столовую, где распространяла ежевечерний свет огромная висячая лампа, не подозревавшая о Голо и Синей Бороде¹², но знавшая моих родителей и говядину в кастрюле, и бросался в объятия мамы, которая теперь из-за страданий Женеьевы Брабантской была мне еще дороже, между тем как злодеяния Голо заставляли меня еще строже вопрошать свою собственную совесть. После обеда, увы, меня вскорости отсылали от мамы — она оставалась поболтать в саду, если было тепло, или в малой гостиной, где все собирались в ненастную погоду. Все, кроме бабушки: она считала, что «за городом обидно сидеть взаперти», и, когда шел особенно сильный дождь, без конца спорила с отцом из-за того, что он вместо прогулки посылал меня в спальню читать. «Так он у вас никогда не станет крепким и бодрым, — печально говорила она, — а ведь нашему малышу надо набираться сил и стойкости». Отец пожимал плечами и глядел на барометр, потому что любил метеорологию, а мама, стараясь не шуметь, чтобы ему не мешать, смотрела на него с нежным почтением, но не слишком пристально, даже и не пытаясь проникнуть в тайну его превосходства. Но в любую погоду, даже когда свирепствовал дождь и Франсуаза стремительно вносила в дом драгоценные плетеные кресла, чтобы их не испортила вода, бабушку можно было видеть в пустом саду, под хлещущим ливнем; она отводила назад растрепанные седые волосы, подставляя ветру и дождю лоб, чтобы он лучше напитался целебной влагой. Она говорила: «Наконец-то можно ды-

шать!» — и обходила промокшие аллеи — чересчур, на ее вкус, симметрично проложенные новым, лишенным чувства природы садовником, которого отец с самого утра спрашивал, наладится ли погода, — бодрыми порывистыми шажками, ритмом которых управляли разнообразные движения души, порожденные куда больше упоением от дождя, могуществом гигиены, бестолковостью моего воспитания и симметричной планировкой сада, чем чуждым ей стремлением уберечь от пятен фиолетовую юбку, которая оказывалась заляпана сплошь, так что горничную потом озадачивало и приводило в отчаяние то, как высоко долетали брызги.

Когда бабушка после обеда кружила по саду, только одно могло вернуть ее домой; пока она, влекомая по орбите прогулки, снова и снова, подобно мошке, оказывалась перед огнями малой гостиной, где на ломберном столике были выставлены напитки, иной раз двоюродная бабушка кричала ей: «Батильда!¹³ Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!» И впрямь, чтобы ее подразнить (ведь она вносила в семью моего отца совершенно чуждый дух, и за это все ее вышучивали и изводили), моя двоюродная бабушка угощала деда, которому спиртное было запрещено, капелькой коньяку. Бедная бабушка шла в гостиную и начинала пылко уговаривать мужа не прикасаться к коньяку; он сердился, назло выпивал глоток, и бабушка уходила, печальная, поникшая, но все равно с улыбкой на губах, потому что она была так смиренна духом и кротка, что ее нежность к другим и полное невнимание к собственной персоне и к своим огорчениям примирались в улыбке, сопровождавшей ее взгляд, и в улыбке этой, в противоположность улыбка прочих смертных, сквозила ирония, обращенная только на нее саму, а нас она словно целовала глазами, озарявшими тех, кого она любила, горячим и ласковым взглядом — иначе они не умели. Пытка, которую ей устраивала моя двоюродная бабушка, тщетные бабушкины мольбы и ее заранее обреченная на поражение слабость, когда она безуспешно пыталась отнять у деда рюмку, — ко всему этому потом привыкаешь, и даже смеешься, и весело и безоглядно принимаешь сторону гонителя, желая самого себя убедить, что никаких гонений и нет; а в то время подобные сцены приводили меня в такой ужас, что я готов был побить двою-

родную бабушку. Но когда я слышал: «Батильда! Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!» — я трусливо, как взрослый, делал то, что делаем все мы, взрослея, когда сталкиваемся со страданием и несправедливостью: я не хотел их видеть; я уходил рыдать на самый верх дома, в комнатку рядом с классной, под крышей, где пахло ирисом, а еще дикой черной смородиной, выросшей снаружи на стене в щели между камней, — ее цветущая ветка тянулась в полуоткрытое окно. Комнатка эта, предназначенная совсем для других, более низменных целей, из которой днем было видно аж до самой башни замка в Руссенвильле-Пен, долго служила мне прибежищем — конечно же, потому, что это была единственная комната, которую мне разрешалось запирать на ключ, чтобы предаваться всему, что требовало нерушимого уединения: чтению, мечтам, слезам и чувственности. Увы, я не знал, что куда сильнее мелких отступлений от диеты, которые позволял себе ее муж, бабушку тревожили мое безволие и хрупкое здоровье и что в них она воображала угрозу моему будущему, когда бесконечно кружила вечерами, чуть клоня набок и поднимая к небу прекрасное свое лицо со смуглыми морщинистыми щеками, которые с годами стали почти сиреневыми, как осеннее вспаханное поле; выходя из дому, она прикрывала их короткой вуалеткой, и на них всегда виднелась непросохшая слеза, исторгнутая не то холодом, не то невеселыми мыслями.

Единственным утешением, пока я поднимался к себе наверх спать, служило мне то, что мама придет поцеловать меня перед сном. Но прощание длилось так недолго, а уходила она так скоро, что, когда я слышал, как она поднимается и как потом шуршит по коридору с двойной дверью ее летнее платье из голубого муслина, обшитое ленточками из плетеной соломки, самый этот миг для меня был мучителен. Он предвещал все, что будет потом, как только она покинет меня, уйдет вниз. Я даже, хотя так любил это прощание, мечтал, чтобы оно произошло как можно позже, мечтал еще немного подождать маму. Когда, поцеловав меня, она уже отворяла дверь и собиралась уходить, я порывался окликнуть ее, сказать: «Поцелуй меня еще», но я знал, что она сразу нахмурится, потому что и так уже она совершила уступку моей печали и моему волнению, пришла попрощаться, принесла мне свой умиротворяющий поцелуй, и это раздража-

ло отца, считавшего весь ритуал глупостью, а потому ей хотелось, чтобы я постепенно перестал в нем нуждаться, отказался от этой привычки, а вовсе не привыкал просить ее о новом поцелуе, когда она уже в дверях. И вот, едва я видел, что она сердится, как исчезало облегчение, которое она приносила мне мигом раньше, когда склоняла над моей постелью свое нежное лицо и протягивала его мне, словно облатку, причащавшую покою, чтобы мои губы поверили, что она в самом деле здесь, и на меня снизошла сила заснуть. Но эти вечера, когда мама так ненадолго задерживалась у меня в спальне, были еще ничего, ведь когда к ужину являлись гости, она не приходила совсем. Гости — это был обычно г-н Сванн, который, помимо немногих случайных посетителей, чуть ли не единственный навещал нас в Комбре, иногда по-соседски заглядывал к ужину (реже с тех пор, как он столь неудачно женился, потому что родители мои не желали принимать его жену), иногда после ужина, сюрпризом. Вечерами, когда, сидя перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, мы слышали из дальнего конца сада не тот зычный и пронзительный трезвон, который разливался и оглушал своим металлическим, неиссякаемым и ледяным звуком любого домочадца, пробуждавшего его к жизни тем, что входил «без звонка», а нерешительное, округлое и золотистое двукратное звяканье колокольчика для посторонних, все тут же задавались вопросом: «К нам гости, кто бы это?» — но все уже знали, что некому и быть, кроме г-на Сванна; двоюродная бабушка, подавая пример, громким голосом и нарочито естественным тоном говорила, что не надо шушукаться: это крайне обидно для гостя, он может подумать, что разговор не предназначен для его ушей; на разведку отправляли бабушку, благо она всегда была рада лишний раз прогуляться по саду и заодно, не останавливаясь, украдкой вырвать из-под розовых кустов несколько подпорок, чтобы розы выглядели естественнее, словно мамаша, треплющая сына по голове, чтобы слегка взъерошить чересчур прилизанные парикмахером волосы.

Мы все с нетерпением ждали новостей о неприятеле, которые должна была принести бабушка, словно не знали, кто именно среди огромного множества возможных недругов идет на приступ, и вскоре дед провозглашал: «Узнаю голос Сванна». И в са-

мом деле, его узнавали только по голосу, а лицо — нос с горбинкой, зеленые глаза, высокий лоб в ореоле белокурых, почти рыжих волос, причесанных под Брессана¹⁴, — было еще почти неразличимо, потому что в саду зажигали как можно меньше света, чтобы не приманивать комаров; и я потихоньку отправлялся сказать, чтобы принесли прохладительное, что, по понятиям бабушки, было очень важно, поскольку ей казалось, что так гораздо гостеприимнее: напитки не должны были выглядеть исключительной мерой, нарочно для гостей. Г-н Сванн был чрезвычайно привязан к деду, несмотря на то что был намного его моложе: дед был лучшим другом его отца, превосходного, хотя и чудаковатого человека, которому, говорят, довольно бывало сущего пустяка, чтобы перейти от восторга к равнодушию, от одной мысли к другой. Много раз в году дед при мне рассказывал за столом истории, всегда одни и те же, о том, как вел себя г-н Сванн-отец, когда умерла его жена, от которой он не отлучался ни днем ни ночью. Мой дед, который уже давно с ним не виделся, поспешил к нему, в имение Сваннов в окрестностях Комбре, и ему удалось увести рыдающего друга из спальни покойной перед тем, как ее должны были класть в гроб. Они немного прошли по парку, где светило неяркое солнце. Вдруг г-н Сванн взял деда под руку и воскликнул: «Ах, дорогой мой, какое счастье гулять по парку вдвоем в ясную погоду! Взгляните, какая красота — все эти деревья, боярышник и мой пруд, о котором вы мне ни разу слова доброго не сказали! Какой-то вы толстокожий. Неужели не чувствуете, какой ветерок? Ах, что ни говори, в жизни все-таки много прекрасного, милый Амеде!» Внезапно он вспомнил об умершей жене, и, чувствуя, видимо, как трудно ему было бы доискаться причин своего всплеска радости в такую минуту, он просто провел рукой по лбу — жест, свойственный ему всякий раз, когда его умом овладевал неразрешимый вопрос, — и вытер глаза, а потом стекла пенсне. А между тем он так и не утешился после смерти жены, но в те два года, на которые он ее пережил, дед не раз слышал от него: «Как странно, я очень часто думаю о бедняжке, но не могу думать о ней подолгу». «Часто, но не подолгу, как бедный папаша Сванн» — это стало любимой присказкой моего деда в самых разных случаях жизни. Я бы решил, что отец Сванна был чудо-

вищем, но дед — а я почитал его наилучшим судьей, и его приговор, олицетворяя для меня справедливость, часто в дальнейшем помогал мне прощать проступки, которые сам я был склонен скорее осуждать, — так вот, дед восклицал: «О чем ты говоришь! Золотое сердце!»

Между тем долгие годы, пока г-н Сванн-младший, особенно до женитьбы, часто навещал моих дедушку с бабушкой и двоюродную бабушку в Комбре, они и не подозревали, что он уже не принадлежит к тому обществу, в котором вращались его родные, и под именем Сванна, обеспечивавшим ему у нас своего рода инкогнито, они, в своем безграничном неведении уподобляясь хозяевам гостиницы, приютившим в своих стенах, сами того не зная, знаменитого разбойника, оказывают гостеприимство одному из самых элегантных членов Жокей-клуба¹⁵, ближайшему другу графа Парижского¹⁶ и принца Уэльского¹⁷, человеку, которого лелеяло высшее общество Сен-Жерменского предместья¹⁸.

Наше неведение насчет блестящей светской жизни Сванна, по-видимому, объяснялось отчасти присущими ему скромностью и сдержанностью, но еще и тем, что тогдашние буржуа представляли себе общество несколько на индийский лад и считали, что оно разделено на замкнутые касты, где каждый с самого рождения обретает место на той ступени, какую занимают его родители, и ничто уже не сдвинет вас оттуда и не вознесет в высшую касту, кроме такой случайности, как головокружительная карьера или неожиданный брачный союз. Г-н Сванн-отец был биржевой маклер; «сыну Сванна» на роду было написано всю жизнь принадлежать к касте тех, чьи доходы, как в определенном разряде налогоплательщиков, колеблются в таких-то и таких-то пределах. Круг его отца был известен — следовательно, и сам он принадлежит тому же кругу, и понятно было, с кем он «в состоянии» там столкнуться. Если он и знал других людей, то это были знакомства молодого человека, на которые старинные друзья семьи, например мои родные, легко закрывали глаза, благо с тех пор, как Сванн осиротел, он неуклонно продолжал к нам навещаться; но можно было держать пари, что эти неведомые нам люди, с которыми он видался, были из тех, с кем он бы не посмел поздороваться в нашем присутствии. Если бы

моим родным во что бы то ни стало захотелось рассчитать уровень, занимаемый Сванном в обществе, присущий лично ему среди всех маклерских сыновей того же круга, что его родители, этот уровень для него оказался бы слегка пониже, потому что Сванн держался очень просто и, питая давнюю слабость к антикварным вещцам и картинам, жил теперь в старом, до отъезда набитом коллекциями особняке, куда моя бабушка мечтала когда-нибудь попасть, но расположен был особняк на Орлеанской набережной, в квартале, где, по мнению моей двоюродной бабушки, жить было неприлично¹⁹. «Да вы хоть разбираетесь в искусстве? Я для вашего же блага спрашиваю, а то вам торговцы всучат любую мазню», — говорила двоюродная бабушка; в самом деле, она совершенно не предполагала в нем знатока, да и в умственном отношении не слишком высоко ставила человека, который в разговоре избегал серьезных предметов и входил в самые прозаические подробности, причем не только в тех случаях, когда делился с нами кулинарными рецептами, уснащая их бесконечными уточнениями, но даже когда бабушкины сестры заводили разговор об искусстве. Если его подбивали высказать свое мнение, выразить восхищение какой-либо картиной, он не слишком любезно отмалчивался, искупая вину тем, что давал, если мог, точные сведения о музее, где хранится картина, или о дате ее создания. Но обычно он просто старался нас развлечь и каждый раз рассказывал новую историю, которая приключилась у него с людьми, которых мы знали, — с комбрейским аптекарем, или с нашей же кухаркой, или с нашим кучером. Конечно, моя двоюродная бабушка хохотала над этими рассказами, но не понимала, что именно ее так смешит — забавная роль, которую отводил себе Сванн в этих историях, или остроумие, с которым он их рассказывал: «Ну вы и умора, господин Сванн! Умора, и все тут!» Она единственная у нас в семье была не лишена вульгарности, поэтому при посторонних, если упоминали о Сванне, неукоснительно замечала, что он бы мог при желании жить на бульваре Османна или авеню Оперы, что он — сын г-на Сванна, который оставил ему, надо думать, не то четыре, не то пять миллионов, но вот такая у него прихоть. Причем эта прихоть представлялась ей настолько занимательной для окружающих, что в Париже, когда г-н Сванн являлся к ней пер-

вого января с неизменными засахаренными каштанами, она не упускала случая сказать, если при этом были другие гости: «Ну что, господин Сванн, вы все живете у винных складов, поближе к вокзалу — боитесь опоздать на лионский поезд?» И краешком глаза поверх лорнета поглядывала на остальных гостей.

Но если бы моей двоюродной бабушке сказали, что этот Сванн, вполне «достойный» бывать «в лучших домах нашегословия», у самых почтенных парижских нотариусов и адвокатов (хотя он вроде бы и прошляпил эту привилегию), тайком ведет совершенно иную жизнь; что в Париже, уходя от нас якобы домой, спать, он за углом сворачивает в другую сторону и спешит в один из тех салонов, куда вовеки не ступала нога маклера или торгового агента, — это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же необычным, как более образованной даме — мысль, что она лично знакома с Аристеем²⁰ и понимает, что, поболтав с ней, он нырнет в царство Фетиды, в пучину, сокрытую от взоров смертного, где, как показал нам Вергилий, его примут с распростертыми объятиями; или — обратимся к образу, который скорее мог прийти ей на ум, поскольку был запечатлен на тарелочках для пирожных у нас в Комбре, — что к ней на обед приходил Али-Баба, который, едва оставшись один, проникнет в свою пещеру, блистающую неожиданными сокровищами²¹.

Однажды в Париже он заглянул к нам после обеда, извинившись, что на нем фрак, а после его отъезда Франсуаза сказала со слов кучера, что он обедал «у принцессы». «Да-да, у принцессы полусвета!»²² — откликнулась моя двоюродная бабушка с безмятежной иронией, пожав плечами и не отрывая глаз от вязания.

Итак, двоюродная бабушка с ним не церемонилась. Полагая, что наши приглашения для него — большая честь, она принимала как должное корзинки с персиками или малиной из его сада, без которых он у нас не появлялся, и фотографии шедевров искусства, которые он всякий раз привозил мне из Италии.

За ним без малейшего стеснения посылали, чтобы узнать рецепт соуса «грибиш»²³ или салата с ананасом для званых обедов, на которые самого Сванна не приглашали, полагая, что он недостаточно важная персона, чтобы угощать им посторонних,

которые впервые будут в доме. Если разговор случайно касался французских принцев крови, двоюродная бабушка говорила: «Люди, которых мы с вами никогда не узнаем и легко без этого обойдемся, не правда ли», причем говорила не кому-нибудь, а Сванну, у которого, возможно, лежало в кармане письмо из Твикнхэма²⁴; вечерами, когда бабушкина сестра пела, двоюродная бабушка заставляла его двигать рояль и перелистывать ноты и помыкала этим человеком, которого так ценили в других местах, с наивной грубостью ребенка, играющего с драгоценной вещицей небрежно, как с дешевой побрякушкой. Вероятно, Сванн, хорошо известный в те годы завсегдатаям клубов, сильно отличался от Сванна, которого создавала моя двоюродная бабушка, вооружась всем, что знала о семье Сваннов, когда она вечерами, в садике в Комбре, слыша двойное нерешительное звяканье колокольчика, вдыхала жизнь в безвестное и зыбкое существо со знакомым голосом, возникавшее из темноты впереди бабушки. Но ведь какую мелочь нашей жизни ни возьми, каждый из нас — не просто некое материальное единство, в котором любой человек увидит одно и то же, стоит ему только ознакомиться с нами, как с расходной книгой или завещанием; наша индивидуальность создается мыслями других людей. Даже простой поступок, который у нас называется «встретить знакомого», есть до некоторой степени интеллектуальное свершение. Видя человека, мы наполняем его облик всеми нашими понятиями о нем, и в общем нашем представлении эти понятия наверняка занимают главное место. В конце концов они начинают так безусловно округлять его щеки, с такой точностью льнут к линии носа, такой тонкий нюанс придают звучанию голоса, словно внешность — лишь прозрачная оболочка, и всякий раз, видя это лицо и слыша этот голос, мы вновь обретаем и слышим все те же понятия. Вероятно, того Сванна, которого выстроили для себя мои родные, они по незнанию обделили множеством примет его светской жизни, благодаря которым другие люди, оказавшись в его обществе, замечали, какая утонченность царит в его лице, не распространяясь лишь на нос с горбинкой, по которому словно прошла ее природная граница; поэтому, вылуцив все обаяние, мои родные, должно быть, вливали в это порожнее, ничем не наполненное лицо, на самое дно этих бессмысленных глаз, мутный, сладкий осадок — полувоспоминание, по-

лузабвение, — оставшийся от досужих совместных сидений после наших еженедельных обедов вокруг ломберного столика или в саду, из времен деревенского добрососедства. Все это так плотно начинило телесную оболочку нашего друга (да еще добавились кое-какие воспоминания о его родных), что этот Сванн стал полноценным живым существом, и мне кажется, что я от одного человека перехожу к другому, совсем непохожему, когда в памяти своей от того Сванна, с которым был подробно знаком позже, возвращаюсь к этому первому Сванну, — тому, в ком я узнаю милые ошибки собственной юности и кто, надо сказать, похож не столько на Сванна второго, сколько на других людей, которых я знал в те времена, словно наша жизнь подобна музею, где все портреты одной и той же эпохи в чем-то сродни друг другу и выдержаны в одном стиле, — к этому первому Сванну, исполненному праздности, благоухающему ароматом старого каштана, корзиночек с малиной и стебелька эстрагона.

Между прочим, однажды бабушка отправилась просить об услуге одну даму, с которой познакомилась в монастырской школе Сакре-Кёр²⁵ (и с которой, согласно нашим представлениям о кастах, не захотела поддерживать отношения, несмотря на взаимную симпатию), — маркизу де Вильпаризи из знаменитого семейства герцогов Бульонских²⁶, — и та сказала: «Помоему, вы хорошо знакомы с господином Сванном, близким другом Деломов, моих племянников». Бабушка вернулась от нее, восхищаясь домом, выходявшим в сад, — г-жа де Вильпаризи советовала ей снять там квартиру, — а также жилетником и его дочерью, державшими мастерскую во дворе: к ним она зашла и попросила зашить ей юбку, которую порвала на лестнице. Бабушка была в восторге от этих людей, объявила, что малышка — воистину жемчужина, а жилетник — воплощение благовоспитанности, равных которому она не встречала. А все потому, что в ее глазах благовоспитанность совершенно не зависела от общественного положения. Она восторгалась каким-то ответом жилетника и говорила маме: «Лучше не сказала бы и Севинье!»²⁷ — зато о племяннике г-жи де Вильпаризи, встреченном у той в доме, отозвалась: «Ах, дочка, он такой банальный!»

Так вот, упоминание о Сванне не столько возвысило его в глазах моей двоюродной бабушки, сколько принизило г-жу де Вильпаризи. Словно почтение, которое, доверяя бабушке, мы

питали к г-же де Вильпаризи, возлагало на нее долг ни в чем не ронять своего достоинства, и этим долгом она, оказывается, пренебрегла, поскольку знает о существовании Сванна и позволяет своим родственникам с ним дружить. «Она знает Сванна? Быть не может! А ты еще говорила, что она в родстве с маршалом Мак-Магоном!²⁸» Это мнение моих родителей о знакомствах Сванна потом еще подкрепила его женитьба на женщине из дурного общества, почти кокотке, которую, впрочем, он никогда и не стремился им представить и в гости к нам приходил по-прежнему один, хотя все реже и реже, но они полагали, что по этому браку могут судить о неведомом им круге (предполагалось, что именно там он нашел себе жену), в котором он обыкновенно бывал.

Но однажды мой дед вычитал в газете, что г-н Сванн — один из непрременнейших гостей на воскресных обедах у герцога Икс, отец и дядя которого были наиболее заметными государственными деятелями в царствование Луи Филиппа²⁹. А дед интересовался всякими мелкими обстоятельствами, позволявшими ему мысленно соприсутствовать в частной жизни таких деятелей, как Моле³⁰, или герцог де Пакье, или герцог де Брольи³¹. Он пришел в восторг, узнав, что Сванн общается с людьми, которые их знали. Двоюродная бабушка, наоборот, истолковала эту новость не в пользу Сванна: тот, кто выбирал себе знакомых вне касты, в лоне которой был рожден, вне своего общественно-го «класса», оказывался в ее глазах непоправимо деклассирован. Ей казалось, что этот человек разом отказался от плодов всех добрых отношений с людьми, занимавшими прекрасное положение, а ведь отношения эти в предусмотрительных семьях так заботливо поддерживались и хранились для детей (моя двоюродная бабушка даже прекратила знакомство с сыном нотариуса наших друзей, потому что он женился на какой-то «светлости» и тем самым, с ее точки зрения, из почтенного сословия сыновей нотариусов упал до уровня одного из тех авантюристов, конохов или лакеев, о которых рассказывают, что в прежние времена королевы подчас дарили им свои милости). Она осудила план деда — в первый же раз, когда Сванн придет к нам обедать, порасспросить его об этих его друзьях, обнаруженных нами. С другой стороны, сестры моей бабушки, две старые девы,

такие же великодушные, как она, но далеко не такие умные, объявили, что не понимают, что за радость их зятю разговаривать о подобных глупостях. Это были возвышенные натуры, в силу своей возвышенности не способные интересоваться так называемыми сплетнями, пускай даже не лишенными исторического интереса, и вообще всем, что не касается напрямую какого-нибудь эстетического или добродетельного предмета. В мыслях у них настолько отсутствовал интерес ко всему, что прямо или косвенно относилось к светской жизни, что, как только разговор за обедом принимал легкомысленный или просто приземленный характер и двум старым девам никак было не перевести его на предметы, которые были им дороги, их слуховое восприятие как будто убеждалось, что заняться ему нечем, и органы слуха отключались, словно при глухоте. В такие минуты, если деду надо было привлечь внимание сестер, ему приходилось прибегать к физическим приемам вроде тех, которыми пользуются врачи-психиатры с больными, страдающими маниакальной рассеянностью, например пускать в ход стук лезвием ножа по стакану одновременно с резким окликом и пристальным взглядом, — грубые средства, которые доктора часто применяют и в обиходе, со здоровыми людьми, не то по профессиональной привычке, не то полагая, что все вокруг слегка не в своем уме.

Бабушкины сестры больше заинтересовались, когда накануне обеда, на который был приглашен Сванн, загодя приславший специально для них ящик асти, двоюродная бабушка, держа в руках номер «Фигаро»³², где в отчете о выставке Коро³³ рядом с названием одной из его картин было напечатано: «Из коллекции г-на Шарля Сванна», сказала нам: «Вы видели, что Сванна прославили в „Фигаро“?» — «А я вам всегда говорила, что у него прекрасный вкус», — сказала бабушка. «Ну, тебе лишь бы с нами поспорить», — возразила двоюродная бабушка, которая знала, что бабушка никогда с ней не соглашалась, но совсем не была уверена в нашей поддержке и хотела вырвать у нас тотальное осуждение бабушкиных взглядов, чтобы объединиться против нее единым фронтом. Однако мы молчали. Бабушкины сестры заикнулись, что хотят поговорить со Сванном о сообщении в «Фигаро», но двоюродная бабушка им отсоветовала.

вала. Всякий раз, когда она замечала у других преимущество, пускай крохотное, которым не обладала сама, она убеждала себя, что это не преимущество, а недостаток, и вместо того, чтобы завидовать этим людям, жалела их. «Думаю, что вы его не обрадуете, мне, например, было бы неприятно видеть свое имя вот так, в газете, и мне бы не польстило, если бы со мной об этом заговорили». Впрочем, она не слишком усердно переубеждала бабушкиных сестер: боясь вульгарности, они настолько искусно прятали любой личный намек под покровом запутанных иноязычных сказаний, что часто этого намека не замечал даже тот, к кому он был обращен. А моя мама думала только о том, как бы добиться от отца, чтобы он согласился расспросить Сванна если не о его жене, то хотя бы о дочке, которую тот обожал и, как считалось, из-за нее-то и женился. «Просто спроси, как она поживает, вот и все. Ему, должно быть, очень тяжело». Но отец сердился: «Ни в коем случае! Что ты выдумываешь глупости? Это было бы просто смешно!»

Но только мне, единственному из всей семьи, визиты Сванна приносили мучительные переживания. А все потому, что в те вечера, когда приходили посторонние или только один посторонний, г-н Сванн, мама не поднималась ко мне в спальню. Я обедал раньше, а потом садился за стол со всеми, но заранее было условлено, что в восемь встану и уйду; и тот драгоценный хрупкий поцелуй, который обычно мама дарила мне, когда я засыпал, теперь еще надо было донести от столовой до спальни и сохранить на все время, пока я раздевался, да так, чтобы не разбилась его нежность, не расплескались и не развеялись его воздушные чары, причем как раз в те вечера, когда я чувствовал, что хорошо бы принять этот поцелуй особенно бережно, приходилось получать его прилюдно, чуть не похищать, и у меня даже не было ни времени, ни права вкладывать в эту церемонию все внимание, с каким маньяк старается ни на что не отвлекаться, пока затворяет дверь, чтобы потом, когда к нему вернется болезненная неуверенность, победоносно противопоставить ей память о том миге, когда он эту дверь затворял. Мы все сидели в саду, и вот дважды нерешительно звякнул колокольчик. Было ясно, что это Сванн, однако все вопросительно переглянулись, и бабушку послали на разведку. «Не упустите внятно его по-

благодарить за подарок, вино превосходное, да еще такой огромный ящик», — напомнил дедушка свояченицам. «Не шушкайтесь, — сказала двоюродная бабушка. — Очень приятно приходиться в дом, где все что-то шепчут!» — «А вот и господин Сванн. Сейчас мы у него спросим, как он считает, хороша ли завтра будет погода», — сказал отец. Мама полагала, что одно слово из ее уст загладит все обиды, причиненные ему нашей семьей с тех пор, как он женился. Она исхитрилась отвести его в сторонку. Но я пошел за ней; я не решался отпустить ее от себя ни на шаг, зная, что скоро мне уходить из столовой к себе в спальню без обычного вечернего утешения и что она не придет ко мне и не поцелует. «Господин Сванн, — сказала она ему, — расскажите-ка мне о вашей дочке. Я уверена, что она уже умеет, как ее папа, понимать прекрасное». «Пойдемте-ка сядем все вместе на веранде», — сказал, подойдя ближе, дед. Маме пришлось умолкнуть, но сама эта помеха подсказала ей еще один деликатный ход: так тирания рифмы побуждает хорошего поэта достичь в стихе наивысших красот. «Мы еще поговорим с вами о ней, когда останемся вдвоем, — вполголоса сказала она Сванну. — Только мать сумеет понять вас по-настоящему. Уверена, что мама вашей дочурки согласилась бы со мной». Мы все расселись вокруг железного стола. Я старался не думать о тоскливых часах, которые проведу нынче вечером один у себя в спальне, не в силах заснуть; я пытался себя уговорить, что это не важно, потому что наутро я их забуду; я цеплялся за мысли о будущем, надеясь, что они, словно по мостику, переведут меня через надвигавшуюся пропасть, которая меня пугала. Но мой занятый одной-единственной заботой ум и впившийся в маму взгляд напугались и отторгли любое постороннее впечатление. Мысли проникали в мой рассудок избирательно: отметалось все прекрасное или просто забавное, что могло бы тронуть меня или развлечь. Как больной, благодаря обезболиванию, с полным сознанием присутствует на операции, которую над ним производят, но при этом ничего не ощущает, так и я мог бы прочитать любимые стихи или обратить внимание, как дедушка старается навести г-на Сванна на разговор о герцоге д'Одифре-Пакье, но стихи меня не трогали, а дедушкины хитрости не смешили. Они и не увенчались успехом. Не успел дедушка спросить Сванна

об этом ораторе, как одна из бабушкиных сестер, поскольку в ушах у нее этот вопрос прозвучал как глубокая, но неуместная тишина, которую вежливым людям надлежит прервать, обратилась к другой сестре: «Вообрази, Селина, я познакомилась с молодой шведской учительницей, которая поделилась со мной поразительно интересными подробностями о кооперативах в скандинавских странах. Надо бы как-нибудь пригласить ее на обед». — «Ты совершенно права! — отвечала ее сестра Флора³⁴. — А я тоже время даром не теряла. Я у господина Вентейля встретила одного старика-ученого, который хорошо знаком с Мобаном³⁵, и Мобан подробнейшим образом рассказывал ему, как он работает над ролью. Это поразительно интересно. Он сосед господина Вентейля, а я и не знала, милейший человек». — «Не у одного господина Вентейля милые соседи!» — воскликнула тетка Селина от застенчивости слишком громко, а от предумышленности несколько вымученно, бросив при этом на Сванна свой так называемый многозначительный взгляд. Одновременно тетка Флора, понимая, что эти слова выражают благодарность Селины за вино, тоже глянула на Сванна с видом признательным и вместе с тем ироническим, то ли желая просто подчеркнуть тонкость сестры, то ли завидуя Сванну, что он ее на это вдохновил, то ли невольно насмехаясь над жертвой всеобщего внимания. «Надеюсь, что нам удастся залучить этого господина на обед, — продолжала Флора. — Если упомянуть при нем Мобана или мадмуазель Матерна³⁶, он способен говорить часами без передышки». — «Наверное, это восхитительно», — вздохнул дед, которому природа, к несчастью, настолько же отказала в способности страстно интересоваться шведскими кооперативами или работой Мобана над ролью, насколько бабушкиных сестер та же природа забыла снабдить щепоткой соли, которую нужно добавлять от себя, чтобы наслаждаться повествованием о частной жизни Моле или графа Парижского. «Пожалуй, то, что я вам скажу, — обратился Сванн к деду, — касается вашего вопроса ближе, чем может показаться, потому что в некоторых отношениях времена не так уж и меняются. Нынче утром я перечитывал одно место у Сен-Симона³⁷, которое могло бы вас позабавить. Это в том, где он рассказывает, как был послом в Испании³⁸, не самое лучшее место у него, почти газета, но газета,

по крайней мере прекрасно написанная, что уже отличает ее от тех, убийственно скучных, которые мы почитаем себя обязанными читать утром и вечером». — «Не соглашусь с вами, бывают дни, когда чтение газет кажется мне весьма приятным...» — перебила тетка Флора, желая показать, что читала в «Фигаро» о принадлежащей Сванну картине Коро, «...Когда в них говорится о людях или предметах, нас интересующих!» — добавила от себя тетка Селина. «Не стану с вами спорить, — отозвался удивленный Сванн. — Я упрекаю газеты за то, что они всякий день привлекают наше внимание к незначительным предметам, а между тем мы за всю жизнь прочитываем книги три, от силы четыре, в которых говорится о главном. Если уж мы каждое утро лихорадочно разрываем бандероль, которой заклеена газета, тогда надо бы изменить обычай и печатать в этой газете, ну, не знаю... да хотя бы „Мысли“ Паскаля! (конец фразы он произнес подчеркнуто иронически, чтобы не показаться педантом). А в толстом томе с золотым обрезом, который мы открываем раз в десять лет, не чаще, — добавил он, обнаруживая презрение к светским новостям, какое любят изображать некоторые светские люди, — пускай бы писали о том, что королева Греции³⁹ прибыла в Канны, а принцесса Леонская⁴⁰ давала костюмированный бал. Тогда истинные пропорции будут восстановлены». Но тут же, устыдясь, что ненароком коснулся серьезных предметов, он иронически заметил: «Хороший же у нас разговор получается: с какой стати мы забрались в такие выси? — и, обернувшись к деду, продолжал: — Так вот, Сен-Симон рассказывает, что Молеврие⁴¹ имел дерзость протянуть руку его сыновьям. Понимаете, это тот самый Молеврие, о котором он говорит: „В этой пузатой бутылке я всегда нахожу только вздорность, грубость и глупости“». — «Пузатые или нет, а я знаю бутылки, в которых находится кое-что другое», — поспешно вставила Флора, которой непременно хотелось тоже отблагодарить Сванна, потому что вино было прислано в подарок обоим. Селина разразилась смехом. Сбитый с толку Сванн продолжал рассказ: «Не знаю, что это было, невежество или западня, — пишет Сен-Симон, — но он захотел поздороваться с моими детьми за руку. Я вовремя заметил это и вмешался». Дед уже восхищался этим «невежеством или западней», но тут мадмуазель Селина,

которой имя Сен-Симона, как-никак литератора, помешало полностью утратить способность к слуховому восприятию, вознегодовала: «Как?! Вы этим восторгаетесь? Ну, знаете! Хорошенькое дело! Выходит, что он не такой человек, как все прочие? Какая разница, герцог или кучер, главное — ум и сердце. Что за воспитание давал ваш Сен-Симон своим детям, если он не объяснил им, что подавать руку надо всем честным людям. Да это просто отвратительно. Как вам не совестно это цитировать?» А дед, расстроившись и чувствуя, что после такого отпора Сванна уже не уговоришь рассказывать занятные истории, вполголоса сказал маме: «Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила, в подобные минуты он меня так утешает! Ах, да: „Вы к добродетели мне ненависть внушили!“⁴² Прекрасные слова!»

Я не отрывал глаз от мамы, я знал, что, когда мы сядем за стол, мне не разрешат остаться до конца обеда и что на людях мама, не желая раздражать отца, не позволит мне поцеловать ее несколько раз, как у меня в комнате. И я твердо решил, что в столовой, когда начнется обед и я почувствую, что время подходит, я заранее выжму из этого поцелуя, такого короткого и беглого, все, что от меня зависит: глазами выберу место на щеке, куда целовать, соберусь с мыслями, чтобы потом, благодаря этому мысленному приуготовлению к поцелую, всю ту минутку, которую подарит мне мама, чувствовать ее щеку под моими губами; так художник, которому модель может уделить только краткие сеансы, готовит палитру и уже написал заранее по памяти, по своим наброскам, все, для чего, на худой конец, может обойтись и без модели. Но еще и к обеду не позвонили, а дед с бессознательной жестокостью сказал: «У малыша усталый вид, пускай идет спать. Все равно мы сегодня обедаем поздно». И отец, который не так пунктуально, как бабушка и мама, соблюдал верность договорам, сказал: «А и впрямь, иди-ка ты в постель». Я хотел поцеловать маму, в этот миг прозвонили к обеду. «Нет уж, хватит, оставь маму в покое, сколько уже было таких прощаний, что за нежности, просто смешно. Пора уже, иди!» И пришлось мне уйти без последнего причастия; пришлось карабкаться на каждую ступеньку лестницы «скрепя сердце», как в народе говорят, — я поднимался, а сердце рвалось назад, к маме, потому что она меня не поцеловала, а значит, не выдала ему

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика. <i>Е. Баевская</i>	5
КОМБРЕ	15
ЛЮБОВЬ СВАННА	199
ИМЕНА МЕСТ: ИМЯ	393
Примечания. <i>Е. Баевская</i>	439

Литературно-художественное издание

МАРСЕЛЬ ПРУСТ
В СТОРОНУ СВАННА

Ответственный редактор Галина Соловьева
Редактор Елена Березина
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Татьяна Бородулина, Маргарита Ахметова

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 10.07.2017. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 30. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-ILN-14130-03-R